

Где-то через неделю мы, экономя на чем только можно, накопили на съём комнаты и стали искать подходящие варианты. В вариантах, как поначалу казалось, недостатка не было: и мой район, и район отца, и все улицы Москвы пестрели объявлениями о сдаче внаем жилплощади всех на свете размеров и конфигураций. «Без посредников», «агентствам недвижимости не беспокоить» — было написано на них. «Замечательно», — думал я, ибо вдоволь наслушался страшилок о подлецах-риелторах, исправно пополнявших когорты российских бомжей. Связываться с «агентствами недвижимости» было одним из последних моих желаний. Но, звоня по телефонам, указанным в объявлениях, я начал постепенно прозревать. Странные вещи стали выясняться. Фантастические.

Во-первых, надпись «без посредников» (как терпеливо разъяснили мне на том конце провода) вовсе не означает, что квартира сдается самим хозяином из первых рук. Это означает только то, что квартиру уже контролирует риелторская контора и другие конторы звонить по этому номеру не должны. Территория застолблена.

Во-вторых, все до единого объявления, которые мне попадались, расклеены не разными агентствами, а одним. Невероятно, но факт: я звонил по тридцати номерам, собранным в различных точках Западного округа Москвы, и попадал в одно и то же место.

Ну и в-третьих, условия, на которых сдавали комнату, оказались в высшей степени настораживающими. Деньги этим ребятам из агентства нужно было

отнести до того, как я увижу, куда меня намерены вселить.

Я обрисовал ситуацию Патрику. Тот посоветовался на работе со своим менеджером, доброй женщиной, которая, как водится, тоже приехала к нам в Москву откуда-то из дальних мест. Менеджер сказала, что такие условия ставят все риелторы, и ничего удивительного нет.

Деваться было некуда. Мы решили, что крупное и серьезное агентство, способное обклеить своей рекламой пятую часть Москвы, не может быть организовано жуликами, и решили рискнуть.

Офис агентства недвижимости находился возле станции метро «Электrozаводская». Подворотня, через которую туда надо было пройти, степенью своего разрушения и загрязнения фекалиями поражала даже мой, привычный ко всяким чудесам взор. Я уж не говорю, что искали мы ее среди заводских проходных и помоек часа полтора. Это насторожило бы любого. Но нельзя забывать: других вариантов у нас не было. Мы совсем отчаялись, нам не везло буквально во всем, а комната, в которой мы почувствовали бы себя хозяевами, должна была стать первым и наиболее весомым аргументом в пользу того, что мы не совсем конченные неудачники и уж точно не беспомощные дети.

В офисе нас встретила гадкая баба, воплощавшая в себе все представления Вадима и Риты о провинциалах. Она подала нам кучу использованной туалетной бумаги, которую называла словом «дóговор». Я изучил пункты сего славного документа, сам не знаю зачем.

Практической пользы это не имело ни малейшей. Риелторы могли повернуть любой из пунктов так, могли эдак. Скорее всего, я прочел договор для вида — но какой у меня был вид? Мальчишка, в помятом и не очень чистом «костюме неудачника» и с соответствующей рожей, приходит снимать квартиру и приносит денежки на блюдечке с голубой каемочкой. Жить ему явно негде, шум поднимать он в случае чего не станет, в суд обратиться не сможет и при «срыве сделки» наверняка уедет туда, откуда приехал (меня постоянно принимали за провинциала). Патрик выглядел и того хуже: он болел и вконец вымотался на работе.

Один пункт все-таки заставил меня насторожиться.

— Тут написано, что я оплачиваю *информационные услуги*, — заметил я. — Информационные услуги, а не съем комнаты.

— Все правильно, — подтвердила риелторша. — Наше агентство предоставляет вам информацию о сдающемся жилье, а сдает его сам собственник.

— Вот как... — произнес я, попытавшись придать лицу умное выражение.

Договор мы подписали, оформив его на Патрика; денежки вручили. Нас познакомили с нашим агентом, Сашей или Женей, не помню уже. Он пожал мне руку, и мы договорились встретиться с ним в 18 часов того же дня возле железнодорожной станции в моем районе.

Пытаясь казаться друг другу и самим себе довольными и выдать овладевшее нами дурное предчувствие за обычное волнение, мы покинули офис. На выходе из подворотни нас несколько воодушевила встреча с парнем и девушкой, готами, которые тоже шли к риелторам. Эта пара выглядела довольной; волнение никак не отражалось на их лицах. Глядя на них, мы решили, что все не так уж и скверно.

В тот день нам еще предстояло съездить в Текстильщики, где Патрику выдавали зарплату. Все деньги мы отдали риелторам, и нам требовалось взять аванс на пропитание, ибо объедать нищего отца было бы последним делом. Пока мы шли к метро, мне поступило несколько звонков. Первый был от мамы Патрика.

В целях конспирации Патрик сменил SIM-карту сразу по приезду в Москву. Однажды он уже убежал из дому, и родители отыскиали его, обратившись в милицию, где запеленговали сигнал его сотового телефона. Теперь такой вариант был исключен, однако ошибка, допущенная мною несколькими днями ранее, дала о себе знать: на даче я позволил матери заглянуть в паспорт Патрика. Она быстро запомнила его адрес и теперь, связавшись с его родителями, предоставила им мой телефонный номер.

Мама Патрика разговаривала очень вежливо, но разговор закончила предупреждением: если дочь в

ближайшее время не вернется в Ростов-на-Дону, они с мужем обратятся в милицию со всеми вытекающими последствиями. Я был уверен, что никаких последствий из этого не вытекало: мы все ж таки жили не в XIX веке, когда родители и мужья имели право при помощи полиции насильно возвращать домой беглых дочерей и жен, — но пообещал маме Патрика постараться сделать все что можно. Я не врал. Я ведь намеревался в итоге урегулировать его отношения с родителями — но не прямо сейчас, а годика так через пол, когда мы окончательно встанем на ноги и сможем озвучить свои условия.

Спустя час позвонила незнакомая женщина и представилась дальней родственницей Патрика. Она сказала, что живет в ближайшем Подмоскowie, готова принять мою персону протекже под защиту, и клятвенно заверила, что не будет возвращать ее в Ростов. Патрик не поверил ни единому слову: он отродясь не слышал о родственниках в Москве. Очевидно, решили мы, это милицейский или частный психолог, нанятый кем-то из наших родителей с целью обмануть нас и завлечь в западню.

В Текстильщики мы съездили быстро и возвратились в мой район, когда еще не было 16 часов. Делать было нечего, мы сели на неиспользуемую полуразрушенную лесенку железнодорожной станции, куда должен был прибыть риелторский агент, и стали греться на солнышке, обсуждая, как заживем теперь, разжившись собственным углом. Патрик спросил, не уйду ли я, когда все останется позади, и он, можно сказать, устроен. Он не хотел, чтоб я оставлял его.

Мимо прошел Иван: он возвращался на электричке из колледжа и увидел нас.

— Сидите?

— Сидим, — ответили мы.

— Здорово.

Нам тоже показалась, что это здорово: сидеть на лесенке и наблюдать за рыночной площадью, располагавшейся тут же, перед станцией. Мы такие независимые и взрослые; мы загадочные и — во многом — трагичные. Кто мы, чем живем — никто не знает. Мы странники.

Иван купил нам буханку черного хлеба (наивкуснейшего) и, посидев чуть-чуть, укатил. А мы два часа ждали, когда пробьет 18. А потом ждали еще два часа. Саша (или Женя — один хрен) не появлялся и не звонил, и телефон его оставался недоступным. Позвонили по номеру риелторского агентства из объявления. Я узнал ответивший мне женский голос по фрикативному «г» и специфическим интонациям. Голос крайне резко отвечал, что если мы заключили договор с Сашей/Же-

ней, то и звонить нужно ему, а кто там приехал или не приехал, ее не волнует.

— А я знал, что это обман, — заявил Патрик, который слышал весь разговор: так моя визави визжала. — Честные люди не говорят «договор».

— Пидорасы, — согласился я.

Мы еще чуть-чуть посидели на лесенке. По опустевшей к вечеру рыночной площади бродили отъезжающие на мясных отбросах бездомные собаки. Они нас обляяли. Собаки, как и всякие мерзавцы, очень хорошо чувствуют, кого можно безнаказанно обляять, а то и искушать. Заморосил теплый майский дождик. Затянутое светлыми облаками небо приобрело на закате золотой, почти как на иконе, оттенок. Погода установилась мягкая и совсем не предрасполагала к мрачным мыслям. На последние 80 рублей (как раз те, которые я выгреб из коллекции юбилейных монет и берег на черный день) мы купили пива.

— Все будет хорошо, — сказал я, и мы пошли на автобусную остановку.

* * *

Утром мы нашли в нашей коробке с чайными пакетиками таракана, валяющегося на спине и апатично шевелящего лапками. Чай обладал слабыми галлюциногенными свойствами: после него снились красивые разноцветные сны. Маленькое насекомое, впад в измененное состояние сознания, изрядно подняло нам настроение.

Бабушка в свою очередь спешила нас ободрить. Было восьмое мая, канун Дня Победы, и она рассказывала нам, как начиналась война: как страшно было всем, когда с радио пропал Сталин, какие грозные новости носились в воздухе в первые дни. Бабушка была на фронте связисткой; там же она познакомилась с дедушкой. В последний год войны тот раздобыл патефон и всюду его с собой таскал. Патефон у бабушки сохранился: отец завел его и поставил бодренький вальс, который, если верить надписи на пластинке, так и назывался — «Старинный вальс».

Плохо я помню подробности, память совсем негодная... Могу сказать, что Патрик поехал к родственнице, надеясь, что она даст нам денег и провалит ко всем чертям («гордость» и «скромность» в нас заметно поубавились). Родственница Патрика приняла и оставила на ночь.

А следующий день стал самым счастливым в моей жизни.

Мы встретились около полудня в моем районе и сразу отправились гулять. Никогда не было в моем сердце столько надежды, как 9 мая 2007 года. Мы ку-

пили пива и дико напились. Родственница Патрика оказалась на редкость доброй и обходительной особой, никаких безумных требований предъявлять не стала и разрешила жить у себя сколько душе угодно. Более того: она передала Патрику несколько тысяч, с тем, чтобы он вернул их мне, компенсировав понесенные расходы. Я денег не взял. «Пусть пока у тебя хранятся, — сказал я Патрику. — Попробуем еще раз комнату снять».

Мы шлялись по району под ослепительными лучами солнца. Купили торт и съели его на пустыре за железной дорогой, где оставались угли нашего костра и выгоревший изнутри пень.

Всюду гремела музыка, летали воздушные шары... Удивительный день — жаль, что короткий. Счастье было так рядом, его становилось все больше и больше — и вдруг настала пора Патрику возвращаться к родственнице. Мы сели в автобус и неслись сквозь стройные ряды восклицательных знаков, а на светофорах впереди горели сразу все три цвета.

Когда я проводил Патрика до его нового жилища, доехал на метро до Парка Победы и зашагал по железной дороге мимо Поклонной горы, начался салют. Огненные цветы распускались в сумеречном небе прямо надо мною. Грохот орудий бил по ушам. На одежде падали маленькие кусочки салюта, уже потухшие и остывшие. Я был совершенно один, я лег на железнодорожную насыпь и стал глядеть ввысь, упиваясь своей личной Великой Победой и представляя, будто все это великолепие посвящено одной лишь ей.

Когда великолепие кончилось, сгустились сумерки, и я вошел в лес. За лесом начинался родной район: он встретил меня, выдавшего вида странника, мягким светом фонарей и окон многоэтажных домов.

В квартире никого не было. Я с наслаждением вымылся и завалился на чистую и мягчайшую постель. Подушка, которую не доставали из шкафа с момента моего изгнания, пахла духами Патрика.

* * *

На следующий день я тщательно пересмотрел договор и нашел в нем телефон службы клиентской поддержки. Позвонив по нему, сообщил, что договорился с агентом о встрече, но тот не явился. У меня спросили координаты снятой в аренду комнаты. Я назвал адрес. В ответ риелторы начали нести ахинею, что-де в моем районе свободных комнат нет, а есть одна в Южном Бутово, да и та освободится только через три дня.

— Позвольте, — прервал я. — Вот договор, который я уже заключил и оплатил. В нем русским языком

сказано, что «услуги» будут мне предоставлены в день оплаты. Какие три дня? Какое Южное Бутово?

Ахиня вновь понеслась из трубки. Я попросил номер Саши — мне отказали. Тогда я поехал на «Электроводскую», в офис риелторов. Там мне сказали, что все вопросы нужно выяснять у сотрудницы, с которой был заключен договор, а ее на месте нет.

— Дайте ее телефон! — настаивал я.

— Мы не предоставляем клиентам личные данные сотрудников.

Пока я сражался с мерзавцами, пришло сообщение от Патрика: «Уезжаю в Ростов». «Когда?» — спросил я. — «Послезавтра».

Весь оставшийся день я строчил сообщения родственнице Патрика, пытаюсь заставить ее изменить свое глупое решение, идущее, вдобавок, вразрез со всеми обещаниями. Родственница пространно мне отвечала. Она не ставила мягкий знак на конце глаголов настоящего времени второго лица единственного числа и вообще делала тьму ошибок (а ведь тоже менеджер). Ясно было, что с ней не договориться. Хороший человек не станет писать «Ничего не поделаешь».

«Почему вы отправляете Таню домой? Вы обещали не делать этого». — «Аня обманула меня». — «Как?» — «Не отдала тебе деньги». — «Так я сам отказался». — «Все равно она должна вернуться к родителям». — «Она не хочет». — «Ничего не поделаешь».

Стало б мне легче, поставь она мягкий знак? Да. Немного. Всегда обидно, когда твоей судьбой распоряжаются не слишком умные и грамотные люди.

Не успел я оглянуться, как настал час расставания. В последний момент примчался я к Казанскому вокзалу с пакетом, в котором лежали жесткие диски Патрика (их мы от греха подальше отдали на хранение Ивану). До автобуса, идущего в Ростов-на-Дону, Патрика сопровождал длинный парень — сын родственницы. Боялись, значит, что тот сбежит ко мне.

Сын родственницы посмотрел на меня как на говно. Представляю, что ему наплели про мою историю!

Мы быстро попрощались, я отдал Патрику пакет, и дверь автобуса закрылась. Напоследок он шепнул мне: «Приезжай в Ростов», но я не придавал значения его словам. В одночасье все рухнуло для меня. «Я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо!»

* * *

Возможность снова встретиться с Патриком представилась в конце мая, когда его родители пригласили меня в гости. Они считали, что я спас Патрика в этой

огромной страшной Москве, и были благодарны. Поэтому в Ростов я приехал победителем.

До того я покидал пределы Московской области лишь пару раз в жизни. Ростов-на-Дону очень меня впечатлил, прежде всего тем, что пребывал в таком состоянии, словно немецких оккупантов из него выгнали полгода назад. Конечно, в похожем состоянии находилась большая часть городов бывшего СССР, но в те дни я еще плохо представлял себе масштабы бедствия, именуемого «Замкадье».

Не могу сказать, что разрушенный город вызывал отрицательные чувства. Я любил развалины, и ростовские постапокалиптические пейзажи представлялись желанной экзотикой. Не мне же суждено всю жизнь сводить среди них концы с концами.

Патрик встретил меня на автовокзале. Жара стояла страшная, но он был в длинных джинсах и клетчатой рубашке с длинными рукавами — своем любимом наряде. В шортах, бриджах или майке я никогда его не видел. Он скрывал от людей свои покрытые шрамами руки, а также старался быть похожим на парня. Я его отчасти понимал, ибо сам одеваюсь в жару так же, чтобы скрыть от людшек свои непомерно тощие руки и ноги (пару раз я отхватывал из-за них, да и без того сложно было переносить презрительные взгляды и колкие замечания от незнакомых людей на улице). Жары мы не боялись: московские ночи научили нас, что жара — не враг.

Мы сразу же поехали к Патрику домой. Он жил в дореволюционном кирпичном частном доме со слегка покосившимся фасадом (во время войны перед домом взорвалась бомба). Окна выходили прямо на ограду судоремонтного завода, который, впрочем, не подавал признаков жизни и практически не виднелся за деревьями и бурьяном, заполонившими его территорию. На самой улице напрочь отсутствовало асфальтовое покрытие, хотя Патрик уверял, что еще несколько лет назад его кое-где удавалось рассмотреть. На самую улицу общественный транспорт не ходил, и от автобусной остановки требовалось идти по не менее живописным переулкам, ведущим мимо заброшенных и полузаброшенных частных домов, полувековых дубов, проросших сквозь асфальт прямо на проезжей части, и подозрительных компаний бритых наголо граждан, распивающих в жаркий южный полдень водку под сенью покосившихся стен.

За высоким железным забором, ограждавшим дворик Патрика от враждебного мира, меня встретил цепной пес невероятных размеров и злобы. Тут же был почтовый ящик из толстой жести, который пес в припадке ненависти покорежил своими зубищами, «как Тузик грелку». Каким-то чудом ему не удалось

порвать многокилограммовую цепь, вроде якорной, на которую его приковали, иначе не писал бы я этих строк.

Внутри дома царил кондиционерная прохлада и кошки (семь штук, если память не изменяет). Было здорово сидеть на кухне, в окружении их и Патрика, пить прохладный сок и наслаждаться покоем. Чуть позже я познакомился со Снежаной и Валентином, родителями Патрика (Снежану Патрик называл Гитлером). Они показались мне людьми положительными, в первую очередь потому, что то и дело выказывали благодарность за «спасение» Патрика. Я не стал задавать им важные вопросы, решив подождать, пока наше знакомство окрепнет.

В Ростове я пробыл три дня. Снежана и Валентин отвезли нас на пикник на левом берегу Дона. Сами мы с Патриком посетили несколько интересных мест, в частности девятиэтажку, в которой тот провел детство (впоследствии квартира была продана) и которой была посвящена повесть «9 этажей». Попили пива в подъезде, поразившем меня тем, что в плитах пола на лестничных площадках были пробиты сквозные дыры, а батареи и трубы центрального отопления были выломаны из несущих стен с таким цинизмом, что в некоторых местах обнажилась арматура железобетонных блоков. Кое-где спилили на металллом и лестничные перила, а в черном-черном лифте вандалы разбили молотками половину кнопок. Сходили мы и к Парамоновским складам: это единственная достопримечательность Ростова-на-Дону (помимо самого Патрика). Парамоновские склады представляли собой ряд расположенных вдоль берега Дона кирпичных зданий в стиле «лаконичного кирпичного декора с мотивами романского зодчества и русского классицизма». Никто не знает, в какой период нашей трагической истории они из промышленного объекта превратились в романтические руины. Так или иначе, крыши и перекрытия их давным-давно сгнили и рухнули, а часть зданий внутри затопила родниковая вода. В ней, совсем как в постапокалиптическом кино, плескались люди: древние строения превратились в настоящую купальню.

Наш отдых был недолог. Я узнал, что Патрику вскоре предстоит лечь в психиатрическую больницу. Поначалу я думал, что это родители на него надавили. Но Патрик ведь хотел походить на своего автобиографического героя, а факт, что он никогда не бывал в дурдоме, портил всю концепцию. Были ли у Патрика проблемы с психикой? В определенной мере — да. Но признать человека психом легче легкого. А ты попробуй пойми его.

В те дни Патрик казался почти здоровым (если не забыть, что он приехал за тысячу километров черт зна-

ет к кому со ста рублями в кармане). Конечно, я не знал, что творилось у него в голове. Он говорил мне, что болен, что тревожится за свое психическое состояние. Я отвечал ему: «Наплюй». Узнать, что значит «сходить с ума», мне еще только предстояло.

Патрик и его родители пообещали, что после курса лечения обязательно пригласят меня. Всего месяца ожидания — и я снова увижу Патрика.

Под вечер третьего дня мы поехали на автовокзал. Когда я сел в автобус, Патрик не ушел: все стоял под окном. Автобус не отправлялся долго — и до последней секунды на меня был направлен этот взгляд. Я был рад видеть его, но на фоне привокзальной площади, лысых татуированных ростовчан и мятых «посаженных» автомобилей с наглухо тонированными стеклами Патрик казался таким маленьким и беззащитным, что мне хотелось разбить стекло и крикнуть: «Беги скорее домой!» Патрик и сам знал, какой он маленький, однако продолжал стоять. Ведь за спиной его довольно скрестил руки апостол Петр. Страж рая сделал все, чтобы изгнать меня. Патрик знал это, а вот мне было невдомек, что, услышав тихое шипение закрывающейся автобусной двери, я стал навсегда отрезан от счастья: райские врата затворились, и сиденье подо мной устремилось вниз.

ЧИСТИЛИЩЕ

Пытаюсь вспомнить, что было потом, — и холодею от ужаса. Там дыры, там моя жизнь уже поглощена небытием. С большим трудом выхватываю из темноты какие-то образы из тех дней. Они сохранились только благодаря привязке к знаковому для моей жизни событию — поступлению в университет.

Да-да, я готовился поступать — и по всем помойкам, подъездам, квартирам и мостам возил в рюкзаке тома классической литературы.

В школе мне привили столь дикое отвращение к русским писателям, что во время учебы у меня и мысли не возникало прочесть что-либо из программы. Теперь же, с невысказанными усилиями преодолевая ненависть и тошноту, брался я за Толстого, Достоевского, Чехова, Пушкина и прочее из *sancta sanctorum* русских интеллектуалов. По возвращении из Ростова штудии усилились. Я возлагал на университет огромные надежды. Меня еще не покинула гибельная иллюзия, будто жизнь можно «начать заново», что человек способен вытащить себя за волосы из болота, словно Мюнхгаузен (который, ясное дело, наврал). И потом, университет должен был спасти меня



от армии. Я точно знал, что, оказавшись под ружьем, непременно погибну в адских мучениях. Армия, она ведь как школа, только ублюдков больше и домой вечером не уйдешь.

Запершись в бывшей бабушкиной комнате, я днями напролет читал толстые книги. И только одно могло меня отвлечь. Мать. Она не в силах была оставить историю с Патриком: ФСБ подобралась к нам слишком близко. Еще чуть-чуть — и чай с полонием обеспечен.

«Ну подумай сам, — повторяла она, — ты всю жизнь жаловался, что никому не нужен, что никто не дружит с тобой и никому ты не нравишься. И вдруг появляется такая красивая баба. Разве это возможно? Понятно, что она просто охмурила тебя, чтобы упрятать в психушку и получить в награду от ФСБ нашу квартиру. Она сама об этом писала».

Мать имела в виду раннюю повесть Патрика «С ума и обратно», где главный герой стараниями миловидной, но вероломной и падкой до недвижимости жены

действительно оказался в сумасшедшем доме (правда, потом всем отомстил).

Мать и раньше-то считала меня недоумком, а узнав историю с риелторами (которую я ей по привычке доверил), разочаровалась в моем интеллекте окончательно. Любые мои поступки представлялись ей с той поры или диктуемыми агентами ФСБ из Интернета, или же совершаемыми под действием психотропных средств, которые агенты добавляли нам в еду. Выход она видела только один: бросить все и уехать в Северную Корею. Отчего-то именно эта таинственная восточная страна, предельно закрытая и ошетинившаяся на весь мир пушками и ракетами, представлялась ей наиболее надежным убежищем от политических репрессий.

Готовясь к переезду, мать стала распродавать имущество. Первым ушел один из двух дачных участков. Мать продала его за бесценок гнусным, подлым и наглым армянам, моментально превратившим его в

свалку. Следующим должен был стать участок с домом, где я провел детство. Вскоре и на него нашлись покупатели, однако сделка затягивалась: агенты ФСБ мешали накопить денег на отъезд и всячески тормозили оформление документов. Это ввергало мать в ужас. И совсем плохо ей становилось, когда я заявлял, что не хочу в Северную Корею.

В поисках угроз ФСБ она стала обходить не только наш подъезд, но и окрестные дворы. Выкрыв у меня распечатанные на принтере рисунки Патрика, она здорово напугала бомжей у помойки, налетев на них с вопросами о зашифрованных в них смыслах.

Из-за происходящего я очень переживал. Поскольку выхода не предвиделось, мои негативные эмоции стали выливаться в болезненные формы, которые я позаимствовал у Патрика. Первым делом я начал писать свои мысли на обоях в комнате. «С добрым утром, мистер Фриман», «Говорят, высокая поэзия хорошо влияет на потенцию», «Йа гигантский слизень» и прочие сентенции, смысл которых непонятен даже мне самому, и поныне украшают стены бывшей бабушкиной комнаты, куда я со временем переселился. Надписей было мало, и я попробовал разрезать себе руки, чтобы «боль душевная трансформировалась в боль физическую». Увлекался и тушением сигарет о кожу. Я не курил, но специально ради этого приобрел пачку «Винстона».

Садомазохизм помог на время отвлечься от мрачных мыслей и вновь сконцентрироваться на учебе.

* * *

Наконец на даче дело сдвинулось с мертвой точки, и покупатели въехали в наш дом. Мать стала вывозить мебель в Москву. Иной задался бы вопросом: куда ее ставить в нашей тесной квартирке, забитой старым хламом? Да и зачем нам эти вещи нужны? (На дачу мы всегда вывозили особенно старый и бесполезный хлам.) У матери подобных вопросов не возникло. К чему вопросы, когда есть освободившаяся после смерти бабушки комната? Наличие в комнате моих вещей препятствием не считалось.

Ситуация должна была привести к скандалу, истерикам, воплям. Но накал страстей был слишком велик, чтобы дело обошлось простым скандалом. Чересчур много накопилось в наших сердцах зла и дерьма, и плотина рассудка прорвалась.

Я заявил матери, что она разрушила мою жизнь. Мать ровно настолько же была уверена, что это я разрушил ее жизнь, отказавшись уехать в Северную Корею.

Я стал крушить все вокруг. Подобные погромы я устраивал и раньше, но тот раз превзошел все, и вот почему. Я прощался в тот раз с детством. В предыдущие разы я не выходил из себя, а только делал вид, что выхожу. Зачем? А зачем кричит ребенок? Чтобы обратили внимание. Чтобы что-то сделали. Оттого скандалил и я. Время шло, для привлечения внимания матери требовалось все больше сил. Я стал кричать на нее матом. Потом — крушить вещи. Но и это я делал в прошлые разы сознательно. Теперь же пробил час — и глухота матери достигла такой степени, что пришлось крикнуть слишком громко. В мозгу моем образовалась трещина — маленькая такая, — но с тех пор она только расширяется, и в конце концов через нее утекут мои воспоминания и моя личность.

Я крушил, крушил, бил, ломал, пытался зарезаться спасенным с дачи серпом, проклинал мать и совсем утратил чувство реальности. Я видел, что больше никогда не смогу до нее докричаться, не будет она больше слышать меня, и голова моя раскалывалась от невозможности пробить эту стену, и кричал я уже не для нее, а просто потому, что не мог не кричать.

До того дня я не представлял себя, к примеру, парализованным: просто в голове не укладывалось, как это нога или рука может перестать воспринимать отдаваемые мозгом команды. Это же так естественно и само собою разумеется! И точно так же не представлял я, что значит «слететь с тормозов»: как люди, будучи пьяными или выйдя из себя, могут совершать неконтролируемые поступки.

Я еще помню тот день. Помню, что делал я, что мать. И помню, что что-то сделалось *само*.

Мать увидела *это* и куда-то сбежала. Я остался посреди комнат, засыпанных осколками стекла, фарфора, обломками стульев и табуретов, перевернутыми диванами, садовым инвентарем, с надписями кровью на стенах и трясущимися поджилками. *Оно* посетило меня на мгновение и тут же ушло; осталась обычная злость и ненависть. Я был страшен и дик в своей беспомощности и нелепости. Нет ничего нелепее и беспомощнее вышедшего из себя ничтожества. В школе или армии меня поставили бы на место одним хорошим щелбаном. У несчастной матери таких щелбанов не было.

Чтобы как-то успокоиться, я решил прогуляться вокруг дома. Возле подъезда уже поджидала милицмейская машина. Двое сотрудников обступили меня слева и справа, давая понять, что за головомойкой дело не станет, а двое красивых девушек-психологов стали задавать мне и подоспевшей матери вопросы. По изрезанным до самых локтей рукам, сигаретным ожогам,

длинным спутанным патлам и ненависти во взгляде они моментально поняли, что делать им со мной нечего. Протокол, однако, составляли долго — как раз чтобы скоротать время до приезда столь любимой Патриком белой машины с цифрами 03.

Санитары и дежурный психиатр не погнушались осмотреть поле битвы в нашей квартире самолично. После этого наводящих вопросов не потребовалось. Аккуратно поддерживая за локти, санитары усадили меня в скорую помощь и повезли куда-то. На месте я еще раз был допрошен — на этот раз медицинской комиссией — и препровожден в палату для пациентов средней буйности. К тому времени все уже спали; пожелав спокойной ночи филологическому факультету, уснул и я.

* * *

Вообще-то, я попал в психушку не впервые. Первый раз был классе в седьмом.

Однажды я пришел в школу, наступив на «мину». Перед уроком одноклассницы с чувствительным обонянием намекнули, что неплохо бы ботинок почистить. Я вырвал из тетрадки лист и отправился в туалет, чтобы счистить «мину» и вымыть обувь под краном. Счистить-то я счистил, но при взгляде на перепачканную бумажку ко мне в голову пришла гениальная в своей простоте идея. Бумажку эту я выкидывать не стал, а аккуратно сложил в фантик, говном вовнутрь, и спрятал в карман. Когда через пару уроков ко мне стали подбираться недруги, я фантик из кармана извлек, развернул и, аки вурдалаков святым крестом, всех ублюдков им от себя отогнал.

Новость о чудотворном говне быстро распространилась по школе. Учителя, завучи, психологи — все схватились за голову, заохали да закудахтали: я опозорил лучшую школу района. И, дабы меня оттуда не пидорнули, матери с бабушкой пришлось зашевелиться.

Мы обошли десятки психологов и психотерапевтов. В их кабинетах я делал то, что умею лучше всего на свете: ныл, ни в чем себя не стесняя. Я рассказывал про учителей, ненавидевших меня, про маляка, про гопников, про то, что мать с ними всеми в сговоре. Честно говоря, я и вправду считал, будто все окружение для того только и существует, чтобы сжить меня со света. Мы с Патриком как-то обсуждали *мировой жидомасонский заговор против человечества*. Патрик сказал, что куда охотнее он верит в мировой заговор всех против него. Вот так и я.

Ничего личного, но психологов с тех пор я недолюбиваю. Составив о них образ по кино и книгам, я

представлял, что найду в их кабинетах понимание без осуждения. Нашел же я ровно обратное: равнодушное презрение, плохо скрываемую гадливость, миллионы глупых и оскорбительных вопросов: «Почему же ты не дашь им сдачи?», «Может быть, тебе стоит заняться своим физическим состоянием?», «Ты не пробовал *не обращать на них внимания?*»

Ну как я мог объяснить им, что против полноценного человека я — как против танка, и мои удары никому не причиняют вреда, а только злят и раззадоривают? Что я висел на турнике, поднимал гантели, отжимался, но все равно оставался в разы слабее любого сверстника, проводящего свободное время у компьютера или телевизора и в глаза не видевшего спортивные снаряды. Что попытаюсь я кому-то «дать отпор», меня вообще убьют.

Нет, психологов я не виню. Наверное, они действительно *желали добра* (ну или просто выполняли, как могли, свою работу). Да и как бы они мне помогли? Горбатого-то могила исправит. Но от подобных вопросов я б на их месте постарался воздержаться. Разве что совет *не обращать внимания* был достаточно здравым, да только я и без психологов всю школьную жизнь придерживался данной стратегии.

Не верю я в психологию. Нет, отчасти верю. Психология описательная, несомненно, достойна права на существование. Еще есть психология манипулятивная: в ее действенности сомневаться не приходится. Но психология терапевтическая? Вот пришел на прием человек, у которого кто-то умер. Ну как ему поможешь? Вот пришел человек не особенно красивый, неинтересный, занудный и невезучий — и жалуется, что никто его не любит. Как ему помочь? А вот школьник приходит, говорит, что все его пытаются уничтожить. Разве можно ему помочь? Только деньги они тянут да сознанием собственной значимости тешатся.

Поняв, что каши со мной не сварить, психологи перенаправили меня к психиатрам. Психиатрам же ситуация, когда у человека совершенно нет друзей, зато кругом одни враги, была хорошо знакома. Так я попал в какой-то детский реабилитационный центр, ну или, попросту, в дурдом для малолетних.

Оказавшись там, я испытал несколько противоречивые чувства, «когнитивный диссонанс», как это нынче модно обзывать. Подобно большинству обывателей, я воспринимал психушку как наказание. Но почему был наказан я, а не те, кто превратил мою жизнь в ад? Хех. Человечишко ведь всегда винит окружающих. Ему, видите ли, неприятно сознавать, что с ним что-то не так. Надо было побыть в той дурке подольше, глядишь, и подлечили б. Конечно, живительных пинков в жизни

меньше бы не стало, но благодаря таблеткам было бы легче *не обращать внимания*.

Они заманили меня в дурдом обманом. Хитрый психиатр предложил отдохнуть от вражеского окружения в стенах его заведения. Пробыв там день, я стал считать этого психиатра злейшим своим врагом.

Ничего ужасного в детском реабилитационном центре не было. Больничка как больничка, только на улицу первые две недели не выпускают (пока таблетки не подавят желание совершать глупости), да старухи-санитарки уж больно навязчиво следят за своевременным приемом целебных снадобий. Но я, привыкший к домашней обстановке, так любивший маму с бабушкой и лишенный возможности видаться с ними, окруженный бабками и психами, совершенно потерялся. (Опять вру себе, между делом — но вру. Что значит «так любивший маму с бабушкой»? Любил-то я их хреново. Иначе почему я поступил так с бабушкой? И почему пишу такие вещи про собственную мать? Не любил я их — просто был привязан, как детеныш какого-нибудь зверя, только, наверное, сильнее, ибо осознавал свою слабость и ничтожность, а мать с бабушкой были единственными, кто хоть как-то мог меня защитить от этого дерьмового мира).

Безуспешно попытавшись завязать знакомство с красивой девочкой-блондинкой, которую звали Киара, поиграв в шахматы с дауном (даун выиграл) и пообещав, я сел в угол и стал горько плакать. Садисты, которых тут лечили, немедленно нашли новое развлечение.

Ночью вообще наступил кошмар. В палате лежали человек восемь, и они не были настолько прибиты препаратами, чтобы спокойно уснуть. Как и любые дети на их месте, они принялись буйствовать. Один больной пидорас вытер жопу моей подушкой, что окончательно меня деморализовало. Бабки-санитарки, столь активные днем, мирно спали в другом конце коридора и не мешали мелким безумцам хулиганить.

На следующий день приехала мать. Она тоже переживала и хотела забрать меня, но вредная бабка-психиатр стала ее отговаривать. С большим трудом мы отпросились на прогулку по территории дурки. Едва выйдя за пределы больничных стен, я дал деру в сторону забора, перемахнул на другую сторону, потеряв в процессе тапочки, и в одних носках, пробравшись зайцем в метро и на электричку, доехал до родного района. Поскольку родители были заодно с психиатрами, я спрятался у Сашки. Мать быстро меня там нашла и забрала домой, пообещав, что никогда больше не отдаст в психушку.

Я рассказал эту историю Патрику, и тот был горд, что его друг — настоящий псих, сбежавший из сумасшедшего дома. Он немного грустил, что сам не получил столь интересного опыта.

* * *

Ни черта не помню. Не могу толком описать, чем та больница отличалась от этой. Да и зачем описывать? — уж на психбольницы-то я насмотреться успею.

Могу сказать, что порядки в этой психушке были строже, чем в детской. Она очень походила на школу, только уйти оттуда было нельзя. Тоже концлагерь, только суровее. Хорошо еще, что до моего 18-го дня рождения оставался целый месяц, и добрая комиссия положила меня в подростковое отделение, а не во взрослое, где, помимо прочих радостей, можно было нарваться на уголовников, проходящих принудительное лечение.

Меня разбудили слова: «Папа, открой глазки». Я открыл. За дверным проемом, ведущим в смежную палату, я увидел сидящего на кровати человека. Его рука находилась в штанах. «Папа, открой глазки», — послышалось откуда-то из-за его спины. И снова послышалось. И снова. Навязчиво и однотонно, призывно и в то же время механически. «Папа, открой глазки».

Он повторял это еще часа два, пока все не проснулись. В этот раз в палате было человек двадцать и еще в районе десятка — за стенкой. Впрочем, те были не людьми, а кочанами капусты в человеческом обличье.

Постепенно обрисовалась и ситуация в моей собственной палате. В глаза сразу бросились трое фашистов, бритых наголо и сплошь покрытых наколками со свастиками и орлами. Они были душой компании. В психушку угодили за неоднократные нарушения закона, чем гордились. Присутствовали тут и малолетние алкоголики, допившиеся до того, что не в силах были самостоятельно ходить: им ставили капельницы. Многие подростки здесь не имели собственных крыш над головой. Один мальчик, лет 15 (но выглядевший на 11), родом из автобусного парка, пытался сбежать через форточку и теперь лежал с загипсованной ногой. Под гипсом завелись вши.

Позавтракав, психи стали развлекаться как могли. Кто-то кидал тапки в одного несчастного паренька, раздражающе раскачивавшегося на кровати. Фашисты травили истории про битвы с «черножопыми». Кто-то играл в карты. Овощ в соседней палате стал повторять новую фразу: «Папа повернул серп лица». Я пытался читать захваченную из дома «Войну и мир», однако таблетки, которыми меня угостили перед сном и на завтрак, начали действовать, и смысл текста ускользал.

Я лежал и думал, не пишет ли мне сейчас Патрик, не обижается ли он, что я не отвечаю на СМС-сообщения (телефон санитары при отъезде взяли не разрешили, якобы ради того, чтобы его не украли).

Ближе к вечеру меня принял психиатр: старый добрый интеллигент, олицетворявший гуманистическое направление в психиатрии. Он внимательно меня выслушивал и печатал конспект на огромной старинной пишущей машинке через копировальную бумагу (в 2007-м уже мало кто знал, что это такое, но до психбольниц прогресс доходит медленно и в извращенных формах).

Психиатр перевел меня в самую спокойную палату, подальше от говорящих овощей и фашистов. Хотя и тут строгости хватало. После завтрака жителей нашей и соседних трех палат перегоняли в так называемый класс — большое помещение, где работал телевизор, стояли столы с журналами и принадлежностями для рисования. В «классе» психи торчали весь день, отлучаясь только на обед. Кого-то выпускали погулять: как и в детском «реабилитационном» центре, это происходило не раньше чем через две недели после поступления пациента, да и то лишь при условии, что тот показал себя пай-мальчиком. За «классом» наблюдали несколько санитарок. В туалет выпускали только по расписанию и всем скопом. Унитазов там не было: их заменяли вмонтированные в пол маленькие ванночки. Слив не работал: его роль выполнял специальный дежурный псих с ведром воды. Наверное, корячиться над вмонтированной в пол ванночкой, в окружении курящих и гогочущих пациентов, под бдительными взглядами санитарки, осознавая, что если не получится сейчас, то следующий раз представится еще хуже, — вот, наверное, самое деморализующее, что было в психбольнице.

Зато я познакомился с двумя классными ребятами из соседних палат: в дурдом они попали, убегая от реальности. Одного звали Скорп. Он разрушил мозг, нюхая газ из зажигалок, клей и бензин. Второй — Слэп — был начинающей рок-звездой и прикалывался по спидам. Мы втроем валялись под лавками в дальнем углу «класса» и под песенки «Фабрики звезд» и Верки Сердючки из зомбоящика болтали о мироустройстве. Слэп исполнял нам метал-партии при помощи гроулинга (вокальный прием такой), а санитарки думали, будто у него начинался приступ буйства, и отводили на уколы. Скорп набил морду невоспитанному психу, обидно отозвавшемуся о его матери. В отличие от «друзей», эти ребята поняли с полуслова, кто я, почему здесь оказался и для чего мне непременно нужно видеть Патрика. Стали думать, как мне поскорее

оказаться на воле. Сбежать из сумасшедшего дома было невозможно. Оставалось уповать на доброту и разум психиатра и вести себя как можно сдержаннее. Главное, понял я, чтобы никто не заподозрил, будто я могу представлять опасность для себя и для общества. В противном случае меня могли мариновать здесь и два месяца, и четыре.

Один раз меня в суицидальных наклонностях едва не уличили. Я забыл упомянуть, что за несколько дней до попадания в психушку меня сшибло с велосипеда тросом. Случилось это вечером, в сумерках, когда я хуже всего вижу. В те времена в Москве автовладельцы взяли моду «столбить» парковочные места при помощи тросов, цепей, палок и железяк. И вот один такой трос, натянутый в неожиданном месте, и спешил меня с двухколесного скакуна, перерезав заодно руки на уровне локтей. Если бы кто догадался натянуть трос на уровне шеи — не писал бы я этих строк.

На одной руке рана быстро зажила, а на второй начала гноиться. Гной пропитал рукав моего больничного халатика, и это заметила санитарка. Очень долго пришлось объяснять, что это не попытка суицида. Еще раз похвалю доброго психиатра, который все понимал и верил мне, ибо большинство людишек в мои истории поверить не могут, думая, будто я так рисуюсь. В общем, полили мне рану неведомой фиолетовой жидкостью, отчего та стала выглядеть красиво и психоделично, хотя заживать по-прежнему не спешила.

Конечно, смешного было мало. В полурасслабленном от таблеток состоянии я потихоньку начал примерять на себя философию Патрика. После окончания школы я почувствовал прилив энергии, желание бороться, строить новую жизнь. Я думал, что теперь, когда я взрослый и мне больше не мешают подонки, я всего добьюсь. Но нет. Плохому танцору всегда что-то мешает. Постепенно оценивая собственную беспомощность, я старался больше не стесняться ее и не пытаться казаться сильнее. Я впервые ощутил себя настоящим ничтожеством, раздавленным насекомым, бесправным и бессильным, и постепенно начал получать от этого удовольствие. Я думал обо всем этом не совсем всерьез, а так, словно философия была штанами, которые я прикладываю к поясице перед зеркалом в магазине одежды. «Надеть» эти «штаны», окончательно сдаться и пустить все на самотек мешала только мысль об авторе сей концепции.

Продолжение следует.